

Николай Лесков

Ракушанский меламед



Николай Семёнович Лесков

Ракушанский меламед

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175407

Аннотация

«Дело было для нас неудачливо: мы отступили, но, к счастью, неприятель нас более не тревожил и давал нам время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуаком в безопасном ущелье, разделяясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашим отрядом командовал маиор Никанор Иванович Плескунов, очень добрый, спокойный и мужественный офицер и изрядный оригинал, из вымирающей породы лермонтовских Максим Максимовичей...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Николай Лесков

Ракушанский меламед

Рассказ на бивуаке

Глава первая

Дело было для нас неудачливо: мы отступили, но, к счастью, неприятель нас более не тревожил и давал нам время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуаком в безопасном ущелье, разделяясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашим отрядом командовал майор Никанор Иванович Плескунов, очень добрый, спокойный и мужественный офицер и изрядный оригинал, из вымирающей породы лермонтовских Максим Максимовичей. Он считал за собой одно немаловажное, по его мнению, преимущество, что с тех пор как произведен в офицеры, все время служил «в серых войсках». Так он называл таможенную стражу, по которой числился, состоя начальником небольшой команды на одном из весьма известных контрабандных пунктов на австрийской границе. Война с турками его рассердила, и он бросил свой «серый пост», и перевелся в действующую армию.

Майор Плескунов был не стар и не молод, не высок ро-

стом, коренаст и немножко мужиковат в манерах и в движениях, но был, как я сказал, прямая душа, добрая, и во всех своих суждениях и взглядах на вещи оригинал. Он был беззаветно храбр, хотя по наружности казался изрядным рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робел и не падал духом, а всегда и везде рассуждал и действовал с настоящим твердым мужеством и с «прохладкой». Похвальбы он терпеть не мог и считал ее недостойною военного человека и вредною.

– Это, – говорил он, – дело купеческое; наври, чтобы было можно из чего уступить, а потом и спускай. А наше дело солдатское, тут что Бог даст.

Понятно, что, держась такого правила, он не имел в своем обычае ни малейшей тени самохвальства и задора. Речей он никаких не говорил, ни обширных, ни кратких, кроме общего внушения:

– Делай свое дело, не стой на месте, когда шлют вперед, и не хвались вперед, чья будет горка, а работай.

Горка – это была его поговорка, то есть, чья возьмет, чей верх будет.

Солдаты Плескунова любили и называли его «настоящим командиром».

– Форсу, – говорили, – не задает, а воует как надо и судит умно: делай, говорит, как надо, а горку кому Бог даст, на то Его воля, а не твое распоряжение.

Хорош Плескунов был и с офицерами, и с нами, юнкера-

ми, которых у него в батальоне было немало. Между нашими офицерами водились люди довольно различного калибра: были у нас и настоящие армейцы, были и «привилегиранты», прибывшие к Балканам из дальней северной столицы. Никанор Иванович не делал между ними никакого различия и держал себя со всеми с нами на самой короткой, товарищеской ноге, хотя, впрочем, очевидно, в деле оказывал больше доверия настоящим армейцам и политиковал, говоря, что «у привилегирантов мундиры дорого стоят, их надо пожалеть». Но, поступая таким образом, он все-таки не любил, чтобы армейцы задирали привилегирантов или как-нибудь над ними подсмеивались.

О храбрости Плескунова и о его преданности делу, за которое он пришел сражаться, покинув свою таможенную стражу, не могло быть и речи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено от контрабандистов, с которыми он вел тридцатилетнюю войну, без единого дня перемирия. А что он считал войну за славян близкою своему сердцу, в этом убеждало то, что он оставил для нее свою старуху, о которой ничего не говорил, кроме как то, что «она набожна», но которую, очевидно, любил очень сильно.

Ни главного, ни ближайшего своего начальства Плескунов никогда не критиковал и терпеть не мог слышать что-нибудь подобное от других.

– Что тебе до него за дело? – говорил он, стараясь всегда

остановить критика. – Хорошо нам с тобой рас суждать, как у нас ума мало, а они, может быть, больше знают и путаются. Ты, что ли, в ответ за него пойдешь? Свой нос, смотри, в чистоте содержи.

Плескунов имел нерасположение к «политиканам», в числе которых считал всех интересующихся газетными толками и делающих по этим толкам какие бы то ни было предположения о высших соображениях и общей судьбе событий. Газеты же просто ненавидел, – и все равно без различия, какого бы они ни были направления, о чем, впрочем, он едва ли и имел надлежащее понятие. Он был о газетах того мнения, какое одно из грибоедовских лиц высказывало о календарях: «Все врут календари».

– Врут-с, – говорил Никанор Иванович.

Впрочем, Никанор Иванович и вообще с печатью не дружил, окромя как с церковною, в которой был весьма начитан, так как, по его рассказам, они с женой эти книги всегда друг другу в зимние вечера «гласно» читали. Если же у кого-нибудь в отряде появлялся листок газеты, которую тот намеревался прочесть прочим, то Плескунов сейчас звал казака и нарочно громко чем-нибудь распорядился. Иной раз, не зная что сказать, он посылал «пошарить», нельзя ли где-нибудь достать для него бутылку чуфурляр-лафиту.

Что это за вино имело быть, этот «чуфурляр-лафит» – мы не могли себе представить, и думали, что Плескунов его просто нам на смех выдумал. Но Никанор Иванович уверял, что

в Балканах непременно есть такое вино, что его отец, когда делал прошедшую турецкую кампанию, так пил чуфурляр-лафит и помнил о нем до самой смерти; а потому как Никанору Ивановичу станет что-нибудь досадительно, он сейчас и вспомнит.

– Ведь не может же быть, чтобы наши тогда его весь выпили; а если выпили, так с тех пор нового надо было намять. Ступай, братец казак, пошарь хорошенько, – непременно должен найти.

Казак отправлялся «шарить», но обыкновенно всегда шарил безуспешно: вина или совсем не было, или же казак, шаря, находил вино, но только это было не чуфурляр-лафит.

Плескунов и этим довольствовался: он пил, что ему добывал казак, и говорил, что чуфурляр-лафиту надо будет в другом месте пошарить. Впрочем, вся эта возня с чуфурляр-лафитом поднималась только тогда, когда майору угрожало слушание газет.

Все мы знали эту слабость нашего доброго майора и порой его щадили, а порой ему досаждали: нарочно заводили с ним спор, доказывали, что в наше время невозможно так вести дела, чтобы не читать газет, не думать и не соображать по ходу дел: чья будет горка? И в тот раз, с которого начинается мой рассказ, мы были на этот счет очень упрямы: горе каждого из нас брало, и досады много накопилось, и ничего-то путем нигде узнать не можем, а тут еще этот чудак с своими рацеями.

– Что тебе знать хочется? Себя знай хорошенько! Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало! Ступай за пригорок, высунь лоб. Турок сейчас лишнее выпустит.

Мы его и принялись допекать и, может быть, первый раз за всю кампанию так пропекли, что он уж не одного, а двух казаков послал шарить, как мы в ту пору думали, нигде не существующего чуфурляр-лафита, а сам даже отошел от нас в сторону. Но добрая душа его не умела долго сердиться, да верно и он не всем был доволен после несчастливого дела, выбравшись из которого мы не досчитывали и половины своих товарищей.

Нельзя было не чувствовать, что нам жутко и горько, и Плескунов, понимая это, сдал тону: он вернулся к нашему кружку, где жарился болгарский баран, и терпеливо слушал наши сетования.

Тут ему кто-то из нас и молвил:

– Что же, Никанор Иваныч, и теперь еще не станете ли ругаться, что смеем считать себя несчастливыми?

Он вздохнул и отвечает:

– Нет; что же ругаться: мы с женой у Исаии пророка читали, что «усталый и голодный на самого Бога ропщет», стало уж этому так надо быть. Поругайтесь, поругайтесь, может быть, вам от этого полегчает; а как отлежитесь да поедите, так, может, и сдобритесь.

Но мы и на это не сдавались.

– Поесть, – говорим, – мы поедим, а при своем останемся,

что нехорошо идет.

– Нехорошо-то, – отвечает, – нехорошо, и говорить нечего, а все еще повременим: чья будет горка?

– Да нечего, – говорим, – и временить, когда уже видно: на чьей стороне горка, если все так будет.

– Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, в чем вы это видите?

Тут наши политиканы и пошли:

– Как в чем? – говорят: – а во что вы ставите все эти подыски всей Европы при коварном нейтралитете Беконсфильда, виляннях Андраши и...

Словом, и пошли, и пошли. Все ему высчитали, чего от кого ждать, кому не верить и чего бояться. И свели опять к тому, что нынче-де уже не те времена, когда можно было во всем полагаться на силу да на отвагу, а нужен ум и расчет, да капитал. Что капитал – душа движения, и что где будет больше дальнзоркой сообразительности, тонкого расчета и капитала, на той стороне будет и горка. А у нас, мол, и ни того-то, и ни этого-то, да и жида одолели: и в Лондоне жид, и в Вене жида, страсть что жидов, и у нас они в гору пошли – даже и кормит нас подрядчик, женатый на Беконсфильдовой племяннице, да и самые славяне-то, за которых воюем, в руках венских жидов. Что же этого безотраднее: жид страшный человек, – он все разочтет, всех заберет в свои лапы и всех опутает.

Никанор Иваныч и рассердился.

– Ну вот, – говорит, – еще что вздумаете: уж и жид у вас стал страшный человек.

– А, разумеется, страшный, потому что он коварный, а коварство – большая сила: она, как зубная боль, сильного в бес-силе приведет.

А Никанор Иванович отвечает:

– А мы зубную боль заговорим.

– Да, да; вот это разве! Ну, так пошлите-ка казака «пошарить», где такого мастера найдете?

– А что же, казак, разумеется, найдет.

– Да; найдет он их, вот все равно как вашего чуфурляр-лафиту.

– А что же: надо веру иметь и ждать, и лафиту достанет.

И что же вы думаете. В эту самую минуту, как нарочно, к Плескунову бежит казак и подает бутылку, а на бутылке надпись: «чуфурляр-лафит». Даже сам Никанор Иванович смутился и спросил:

– Где ты это спер, благодетель?

А казак отвечает:

– Никак нет, ваше высокоблагородие: у маркитанта взял.

– Что же он прежде-то его не давал?

– Давно, – говорит, – с собой вожу, только подавать не смел, больно пакостное.

Маиор отбил горлышко, сплеснул немного в сторону, по-пробовал и говорит:

– Хорошо, братец, маркитант тебе правду сказал: виниш-

ко поганое, и я теперь вспомнил, что мой отец егопил совсем не в Турции, а на Кавказе; ну да не в том дело; а это, господа, вам ответ: видите, – пошарить, так все найдешь. Я политики не читаю и споров не люблю, но ничего, чем вы меня пугаете, не боюсь. Спросите: почему? Отвечу вам: «по Писанию». О Тире сказано, что там не будет горка, где «князья купцы и где сильные земли барышничают», а сила в тех, кои «не видали самоцветных камней и не завистны на золото». Оно так и бывает, как пророк говорит, и мне теперь приходит на память одна история про самого что ни на есть каверзнейшего тонкого израильского политика, который в своем месте все пружины в руках держал и во всем собаку съел, а запил таким чуфурляром, что и с ума спятил. И я, чтобы не позабыть и чтобы вас к стати немножко поразвлечь, пока баран сжарится, пожалуй, готов вам это рассказать в виде притчи...

Тут все и заговорили:

– Помилуйте, Никанор Иванович, да когда же мы не хотим вас слушать? пожалуйста, расскажите.

Никанор Иванович и начал.

Глава вторая

Старый Схария, про которого я вам буду рассказывать, был, так сказать, прирожденный политик, ученый-преученный и притом святой, которому, казалось, все было открыто и само небо с ним перешептывалось. По занятиям он был меламед, держал школу, где юные сыны Израиля получали высшее направление на весь проспект жизни. Жил Схария от меня всего в полуверсте, в торговом местечке, по тот бок австрийской границы; а славен был по обе ее стороны.

Схария был человек старый и для своих мест очень богатый. Состояние он нажил своею обширною ученостью, святостью и плутовством. Если бы вы знали еврея как следует, то не удивились бы, что все эти три вещи в нем не только совершенно совместимы, но даже одна другую требуют, а не исключают. Сколько именно было лет этому патриарху, я с точностью определить не берусь, потому что, когда я, тридцать лет тому назад, поступил на таможду, Схария уже был меламед, обучивший ряд поколений, и тогда уже был почти так же стар и ходил с такою же седою бородой, с какою ходит и нынче. Только нынче он слывет безумцем и служит поношением и посмешищем для безумцев, а до того анекдотического случая, который его таким сделал, он был у всех в почете, в ласке; он первенствовал на молениях, председал на пиршествах и везде имел решающий голос. Как наисовер-

шеннейший знаток закона и наилучший его истолкователь, что бывало он скажет, то так и делается. Ныне же жизнь его пригодна только разве на то, чтобы показать основательность слов Псалмопевца: «не хочет Господь смерти грешника». Но некогда было совсем иное: ученая слава Схарии была так велика, что говорили, будто ей завидовал сам караим Фиркович. Святость Схарии равнялась его учености, но славилась еще более первой. Разумеется, это была та каверзная праведность и та убивающая дух ученость, которыми огорчился наш Спаситель и за которые возглашал: «горе вам, горе и горе».

Схария знал все, чрез что можно прослыть праведным между евреями, и с этой стороны был для многих, и в том числе и для меня грешного, необыкновенно интересен. Он жил весь по правилам, «почивал на законе»: каждый час дня и ночи, каждый его шаг и движение, – все это шло так, чтобы могло возвещать его преподобность. Кто знает, что значит соблюсти всю еврейскую обрядовую праведность, тот знает, как это трудно. Я же, весь свой век проведя с евреями, могу вам это показать, хотя, разумеется, только отчасти.

Наблюдая наказ рабби Елиазара, Схария просыпался до рассвета, но как бы ему ни хотелось встать, он не вставал и даже знака не подавал, что он проснулся, и так лежал до тех пор, пока его не побудит жена. Это так должна сделать каждая воспитанная в законе еврейка. И зато в ту самую секунду, как жена его будила, он сразу же вскакивал и на весь дом

кричал: «Благословен Бог, одаривший петуха разумом, что он различает день от ночи», а потом читал вслух: «Восстану рано». Все это делалось так энергично, что все в доме проклинали «восставшего рано», но непременно и сами поднимались. Схария никогда не надевал рубашки сидя или стоя, а исправлял все это непременно лежа под одеялом, чтобы сатана, подсматривающий за каждым евреем, не увидел бы его чудесного тела и не вздумал бы сам смастерить что-нибудь, если не совершенно такое, то, по крайней мере, хоть подходящее к еврею. Схария никогда не позабывал спуститься с кровати непременно правою ногой. Умываясь, он аккуратно обливал каждую руку по три раза и вытирал лицо так сухо, чтобы не испарилась память.

Пергамент с написанными на нем словами из книг Моисея был у него обмотан волосами из телячьего хвоста и снабжен прикрепленным к нему репейником, который должен был колоть Схарию, если он задумает как-нибудь нарушить какую-нибудь из десяти заповедей. Колол ли его этот репейник или нет, этого не знаю; но поколоть, кажется, было за что. Свитки на дверях дома этого законника были самые полномерные; их все должны были издали видеть и понимать, что на дом Схарии снисходит беспрестанное благословение, как на браду Ааронову и на ометы его риз.

Никто никогда не видал, чтоб у Схарии хранилище висело на ремешке или оставалось не спрятым в три коробочка, если в той комнате спали женщины; хранилище он надевал

на себя, как только можно было отличать белый цвет от голубого и носил до темноты. В школу Схария не шел, а бежал, чтобы Бог видел, что он «духом гоним». Его талос или мантия была из белой шерсти, выпряденной еврейкой, и притом с известными приговорами. Молился он много и долго, оборотясь непременно на юг, откуда идет мудрость, а с нею, разумеется, и все благополучия. Люди алчные и глупые молятся на север, откуда приходит богатство, но Схария, как Соломон, знал, что все дело в премудрости. Он молился, всегда тщательно выровняв ноги в первой позиции, и качался, и трясся не щадя колен, чтобы ангелы видели, как сильно колеблет его страх пред Вездесущим. Моленья свои он сначала выкрикивал по-еврейски, а потом посылал особые молитвы по-сирски и по-халдейски, чтобы ангелы, не понимающие этих языков, не позавидовали тому, чего он просит у грядущего Мессии. Еще более тонкая осторожность нужна была против диавола, чтобы этот хитрец не проведал о прошениях Схарии и не повредил ему; но это было предусмотрено: диавол никогда не мог узнать, чего просит Схария, потому что диавол тоже по-сирски и по-халдейски не знает, а обучиться этим языкам не может, потому что учиться у человека ему не позволяет его пустая «свинячья» гордость.

Если Схарии случалось плюнуть во время молитвы, то он делал это невежество не иначе, как в левую сторону, чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся с правой его руки ангелов. Каждый день он воссылал сто благодарений, и так

на виду у людей и ангелов пребывал в молении почти весь день. Отдых его начинался только с той поры, когда наступающие сумерки возвещали, что Егова уже дал ангелам приказ затворить двери и окна неба. С этих пор, разумеется, оттуда на землю уже ничего не было видно и потому чиниться было нечего, да и продолжать самое моление не было никакого расчета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.